

Разорвало черную кашу метели косым бледным огнем, и сразу из тучи вывалились длинные, темные лошадиные морды.

Храп. Потом ударило огнем второй раз, Абрам упал в глубокий снег под натиском бесформенной морды и страшной лошадиной груди, покатился, не выпустив винтовки из рук... Стоптаный и смятый, поднялся в жемчужных, рассыпавшихся мухами столбах.

Холода он не почувствовал. Наоборот, по всему телу прошел очень сухой жар, и этот жар уступил место поту до ступней ног. Тогда же Абрам почувствовал, что это обозначает смертельный страх.

Вьюга и он, жаркий страх, залепили ему глаза, так что несколько мгновений он совсем ничего не видал. Черным и холодным косо мело, и проплыли перед глазами огненные кольца.

— Тильки стрельни... стрельни, сучья кровь, — сказал сверху голос, и Абрам понял, что это — голос с лошади.

Тогда он вспомнил почему-то огонь в черной печечке, недописанную акварель на стене — зимний день, дом, чай и тепло. Понял, что случилось именно то нелепое и страшное, что мерещилось, когда Абрам, пугливо и настороженно стоя на посту, представлял себе, глядя в вертящуюся метель. Стрельни? О нет, стрелять он не думал. Абрам уронил винтовку в снег и судорожно вздохнул. Стрелять было бесполезно, морды коней торчали в поредевшем столбе метели, чернела недалеко сторожевая будка, и серой кучей тряпья казались сваленные в груды щиты. Совсем близко показался темный бесформенный второй часовой Стрельцов в остром башлыке, а третий, Щукин, пропал.

— Якого полку? — сипло спросил голос.

Абрам вздохнул, взвел глаза кверху, стремясь, вероятно, глянуть на минутку на небо, но сверху сыпало черным и холодным, винт свивался ввысь — неба там не было никакого.

— Ну, ты мне заговоришь! — сказало тоже с высоты, но с другой стороны, и Абрам чутко тотчас услышал сквозь гудение вьюги большую сдержанную злобу. Абрам не успел заслониться. Черное и твердое мелькнуло перед лицом, как птица, затем яростная обжигающая боль раздробила ему челюсти, мозг и зубы, и показалось, что в огне треснула вся голова.

— А... а-га-а, — судорожно выговорил Абрам, хрустя костяной кашей во рту и давясь соленой кровью.

Тут же мгновенно вспыхнул Стрельцов бледно-голубым и растерзанным в конусе электрического фонарика и еще совершенно явственно означился третий часовой Щукин, лежавший свернувшись в сугробе.

— Якого?! — визгнула метель.

Абрам, зная, что второй удар будет еще страшнее первого, задохнувшись, ответил:

— Караульного полка.

Стрельцов погас, потом вновь вспыхнул.

Мушки метели неслись беззлобным роем, прыгали, кувыркались в ярком конусе света.

— Тю! Жида взяли! — резнул голос в темноте за фонарем, а фонарь повернулся, потушил Стрельцова и в самые глаза Абраму впился большим выпуклым глазом. Зрачок в нем сверкал. Абрам увидел кровь на своих руках, ногу в стремени и черное острое дуло из деревянной кобуры.

— Жид, жид! — радостно пробурчал ураган за спиной.

— И другой? — жадно откликнулся бас.

Слышало только левое ухо Абрама, правое было мертво, как мертвы щека и мозг. Рукой Абрам вытер липкую густую кровь с губ, причем огненная боль прошла по левой щеке в грудь и сердце. Фонарь погасил половину Абрама, а всего Стрельцова показал в кругу света. Рука с

седла сбила папаху с головы Стрельцова, и прядь волос на нем стала дыбом. Стрельцов качнул головой, открыл рот и неожиданно сказал слабо в порохе метели:

— У-у, бандитье. Язви вашу душу.

Свет прыгнул вверх, потом в ноги Абраму. Глухо ударили Стрельцова. Затем опять наехала морда.

Оба — Абрам и Стрельцов — стояли рядом у высоченной груды щитов все в том же голубоватом сиянии фонарика, а в упор перед ними металась, спешиваясь, люди в серых шинелях. В конус попадала то винтовка с рукой, то красный хвост с галуном и кистью на папаше, то брэнчащий, зажеванный, в беловатой пенке мундштук.

Светились два огня — белый на станции, холодный и высокий, и низенький, похороненный в снегу на той стороне, за полотном. Мело все реже, все жиже, и не гудело, и не шарахало, высыпая в лицо и за шею сухие, холодные тучи, летела ровно и плавно в конусе слабеющая метель.

Стрельцов стоял с лицом, залепленным красной маской, — его били долго и тяжело за дерзость, размолотив всю голову. От ударов он остервенел, стал совершенно нечувствительным и, глядя одним глазом, зрячим, и ненавистным, а другим незрячим, багровым, опираясь вывернутыми руками на штабель, сипя и харкая кровью, говорил:

— Ух... бандитье... У, мать вашу... Всех половят, всех расстреляют, — всех...

Иногда вскакивала в конус фигура с черным костлявым пистолетом в руке и была рукояткою Стрельцова.

Он тогда ослабевал, рычал, и ноги его отползали от штабеля, и удерживался он только руками.

— Скорийше!

— Скорей!

Со стороны высокого белого стационарного огня донесся веером залп и пропал.

— Ну, бей, бей же скорей! — сипло вскрикивал Стрельцов, — нечего людей мучить зря.

Стрельцов стоял в одной рубахе и желтых стеганых штанах; шинели и сапог на нем не было, и размотавшиеся пятнистые портянки ползли за ним, когда отползали ноги от щитов. Абрам же был в своей гадкой шинели и в валенках. Никто на них не польстился, и золотистая солома мирно глядела из правого разорванного носка так же, как и всегда.

Лицо у Абрама было никем никогда не виданное.

— Жид смеется! — удивилась тьма за конусом.

— Он мне посмеется, — ответил бас.

У Абрама сами собой нещекотно и небольно вытекали из глаз слезы, а рот был разодран, словно он улыбнулся чему-то, да так и остался. Расстегнутая шинель распахнулась, и руками он почему-то держался за канты своих черных штанов, молчал и смотрел на выпуклый глаз с ослепляющим зрачком.

«Так вот все и кончилось, — думал он, — как я и полагал. Акварели не увижу ни в коем случае больше, ни огня. И ничего не случится. Нечего ждать — конец».

— А ну, — предостерегла тьма. Сдвинулся конус, глаз перешел влево, и прямо в темноте, против часовых в дырочках винтовок притаился этот самый черный конец. Тут Абрам разом ослабел и стал сползать — ноги поехали. Поэтому сверкнувшего конца он совсем не почувствовал.

Винтом унесло метель по полотну, и в час все изменилось. Перестало сыпать сверху и с боков. Далеко над снежными полями разорвало тучи, их сносило, и в прорези временами

выглядывал край венца на золотой луне. Тогда на поле ложился жидко-молочный коварный отсвет, и рельсы струились вдаль, а груда щитов становилась черной и уродливой. Высокий огонь на станции ослабел, а желтоватый, низенький, был неизменен. Его первым увидел Абрам, приподняв веки, и очень долго, как прикованный, смотрел на него. Огонь был неизменен, но веки Абрама то открывались, то закрывались, и поэтому чудилось, что тот огонь мигает и щурится.

Мысли у Абрама были странные, тяжелые, необъяснимые и вялые — о том, почему он не сошел с ума, об удивительном чуде и о желтом огне...

Ноги он волочил, как перебитые, работая локтями по снегу, тянул простреленную грудь и полз к Стрельцову очень долго: минут пять — пять шагов. Когда дополз, рукой оцупал его, убедился, что Стрельцов холодный, занесенный снегом, и стал отползать. Стал на колени, потом покачался, напрягся и встал на ноги, зажал грудь обеими руками. Прошел немного, свалился и опять пополз к полотну, никогда не теряя из виду желтый огонь.

— Кто же это? Господи, кто? — Женщина спросила в испуге, цепляясь за скобу двери. — Одна я, ей-Богу, ребенок больной. Идите себе на станцию, идите.

— Пусти меня, пусти. Я ранен, — настойчиво повторил Абрам, но голос его был сух, тонок и певуч. Руками он хватался за дверь, но рука не слушалась и соскакивала, и Абрам больше всего боялся, что женщина закроет дверь.

— Ранен я, слышите, — повторил он.

— Ой, лишечко, — ответила женщина и приоткрыла дверь.

Абрам на коленях вполз в черные сенцы. У женщины провалились в кругах глаза, и она смотрела на ползущего, а Абрам смотрел вперед на желтый огонь и видел его совсем близко. Он шипел в трехлинейной лампочке.

Вполне ночь расцвела уже под самое утро. Студеная и вся усеянная звездами. Крестами, кустами, квадратами звезды сидели над погребенной землей, и в самой высшей точке, и далеко за молчащими лесами, на горизонте. Холод, мороз и радужный венец на склоне неба, у луны.

В сторожке у полотна был душный жар, и огонек, по-прежнему неутомимый и желтый, горел скупно, с шипеньем.

Сторожиха бессонно сидела на лавке у стола, глядела мимо огня на печь, где под грудой тряпья и бараньим тулупом с сипением жило тело Абрама.

Жар ходил волнами от мозга к ногам, потом возвращался в грудь и стремился задуть ледяную свечку, сидящую в сердце. Она ритмически сжималась и расширялась, отсчитывая секунды, и выбивала их ровно и тихо. Абрам свечки не слышал, он слышал ровное шипение огня в трехлинейном стекле, причем ему казалось, что огонь живет в его голове, и этому огню Абрам рассказывал про винт метели, про дробящую боль в скулах и мозгу, про Стрельцова, занесенного снегом. Абрам хотел Стрельцова вынуть из сугроба и вытащить на печь, но тот был тяжелый и трудный, как вбитый в землю кол. Абрам хотел мучительный желтый огонь в мозгу вынуть и выбросить, но огонь упорно сидел и выжигал все, что было внутри оглохшей головы. Ледяная стрелка в сердце делала перебой, и часы жизни начинали идти странным образом наоборот, холод вместо жара шел от головы к ногам, свечка перемещалась в голову, а желтый огонь в сердце, и сломанное тело Абрама колотило мелкой дрожью в терции, вперебой и нелад со стуком жизни, и уже мало было бараньего меха, и хотелось доверху заложить мехами всю сторожку, съежиться и лечь на раскаленные кирпичи.

Прошли годы. И случилось столь же радостное, сколь и неестественное событие: в клуб привезли дрова. Конечно, они были сырые, но и сырые дрова загораются — загорелись и эти.

Устье печи изрыгало уродливых огненных чертей, жар выплывал и танцевал на засохшей елочной гирлянде, на лентах портрета, выхватывая край бороды, на полу и на лице Брони. Броня сидела на корточках у самого устья, глядела в пламя, охватив колени руками, и бурочные мохнатые сапоги торчали носами и нагревались от огненного черта. Голова Брони была маково-красной от неизменной повязки, стянутой в лихой узел.

Остальные сидели на дырявых стульях полукругом и слушали, как повествовал Грузный. Як басом рассказал про атаки, про студеные ночи, про жгучую войну. Получилось так, что Як был храбрый и неунывающий человек. И действительно, он был храбрый. Когда он кончил, плюнул в серое, перетянутое в талии ведро и выпустил клуб паршивого дыма от гнилого, дешевого табаку.

— Теперь Абрам, — сказала Броня, — сущий профессор. Он тоже может рассказать что-нибудь интересненькое. Ваша очередь, Абрам. — Она говорила с запинкой, потому что Абрам, единственный недавний приезжий человек, получал от нее в разговоре «вы».

Маленький, взъерошенный, как воробей, вылез из заднего ряда и попал в пламя во всей своей красоте. На нем была куртка на вате, как некогда носили лабазники, и замечательные, на всем рабфаке и вряд ли в целом мире не единственные штаны: коричневые, со странным зеленоватым отливом, широкие вверху и узкие внизу. Правое ухо башмака они почему-то никогда не закрывали и покоились сверху, позволяя каждому видеть полосу серого Абрамова чулка.

Обладатель брюк был глух и поэтому на лице всегда сохранял вежливую конфузливую улыбку, в нужных случаях руку щитком прикладывал к левому уху.

— Ваша очередь, Абрам, — распорядилась Броня громко, как все говорили с ним, — вы, вероятно, не воевали, так вы расскажите что-нибудь вообще...

Взъерошенный воробей поглядел в печь и, сдерживая голос, чтобы не говорить громче, чем надо, стал рассказывать. В конце концов он увлекся и, обращаясь к пламени и к маковой Брониной повязке, рассказывал страстно. Он хотел вложить в рассказ все: и винт метели, и внезапные лошадиные морды, и какой бывает бесформенный страшный страх, когда умираешь, а надежды нет. Говорил в третьем лице про двух часовых караульного полка, говорил, жалостливо поднимая брови, как недострелили одного из них и он пополз прямо, все время на желтый огонь, про бабу-сторожиху, про госпиталь, в котором врач ручался, что часовой ни за что не выживет, и как этот часовой выжил... Абрам левую руку держал в кармане куртки, а правой указывал в печь на огонь, как будто бы там огонь нарисовал ему эту картину. Когда кончил, то посмотрел в печку с ужасом и сказал:

— Вот так...

Все помолчали.

Як снисходительно посмотрел на коричневые штаны и сказал:

— Бывало... Отчего ж... Это бывало на Украине... А это с кем произошло?

Воробей помолчал и ответил серьезно:

— Это со мной произошло.

Потом помолчал и добавил:

— Ну, я пойду в библиотеку.

И ушел, по своему обыкновению прихрамывая.

Все головы повернулись ему вслед, и все долго смотрели, не отрываясь, на коричневые штаны, пока ноги Абрама не пересекли весь большой зал и не скрылись в дверях.

Налет

*В волшебном фонаре*

Впервые — Гудок. 1923. 25 декабря. Подпись: «М. Б.». Рукопись рассказа не сохранилась.

Печатается по тексту газеты «Гудок».

Если Булгаков уничтожал что-то очень важное из своих рукописей, то он старался сохранить для истории хотя бы отрывки-автографы как свидетельства. Так было с первыми редакциями «Мастера и Маргариты», так было с дневниками... Имеются предположения, что многое уничтожил Булгаков и из материалов «Белой гвардии»: ведь замысел был грандиозный и охватывал события всего периода Гражданской войны. Многие уже было и написано... В этом смысле рассказ «Налет» является прекрасным подтверждением того, что Булгаков работал и над другими частями романа. Его принадлежность к роману не вызывает никаких сомнений, но в то же время очевидно, что действие в рассказе происходит в момент приближения большевиков к Киеву в феврале 1919 г. либо уже после взятия его красногвардейцами. То есть описываются события, относящиеся ко второй части задуманной трилогии. Этот рассказ косвенно указывает также и на возможность службы писателя (кратковременной, конечно, по мобилизации) в красных частях, ибо Булгаков никогда не писал о том, чего не знал. Напомним, что о жизни писателя в киевский период 1919 г. почти ничего не известно.

[Страница книги Налёт. \(В волшебном фонаре\) в интернете](#)